

* * *

На раннезимнее стекло
метелью лист прибит.
Его вело и волокло
так, что в глазах рябит.

Но безнадежный взгляд в окно
им утолен до дна —
в прожилках смерти как в кино
сквозная жизнь видна.

Напоминанием о ней
весь этот крупный план
пустых трудов и хмурых дней
с ночами пополам.

Невозмутимый глаз извне
следит, как бьется тьма
в настольноламповом огне
сходящего с ума.

Зрачок экрана строг и льдист,
и высверками льда
разукрупняет пыльный лист
и застит без следа.

* * *

X.X.

Когда рамонский замок на замок
закрыли для латания фасада,
поэт провинциальный занемог,
и все сошлись, что так ему и надо.

Пил как свинья и более того —
смотрел на мир и вел себя по-свински —
не угощал с получки никого,
хоть и любил полакомиться виски.

Он жил на лоне, грубо говоря,
природы с исторической подсветкой,
где родственники прежнего царя
за каждой обнаруживались веткой.

И отдавалась родина внутри
красноречивой импортной изжогой,
когда под утро гасли фонари
над неисповедимую дорогой.

И рифмоплет с похмелья угорал,
и самолет снижался над поселком,
и выходил с принцессой генерал
к претенциозным елкам и сосенкам.

И реставрационные мужи
как дураки корпели над лепниной.
И что-то наподобие межи
обозначалось на дороге длинной.

Глухая тень ложилась поперек,
и забывались встречи и разлуки.
И получалось, что выходит срок,
когда слова забудутся и звуки...

И вот литература умерла,
и началась нелетная погода.
И замка освеженная игла —
смешное искупление ухода.

Аэропорт закрыт на карантин,
и в елисейских куцах сочинитель.
И что с того? Как будто он один,
кому сюртук не справили и китель.

И вместо слез — экскурсии одни,
и над землею — новая корона...
Но в чем печаль, когда труды и дни
прошли вдали от паперти и трона?

* * *

Вот и осень исподволь подошла,
на лотках закуска подешевела.
В обрамленьи выжатого тепла
кореша теснятся осоловело.

Точно тени зыблются кореша
за летучим маревом паутины —
сигаретка, лавка, стакан ерша —
в летнем отблеске до глотка едины.

Жизнь очнулась в призрачном сентябре —
только тени тянут свои сигарки.
Знамо дело, выигрыш по игре,
по блажной любви ошалевшей парки.

Только сушь бессовестная во рту
от смешенья лиц и смещенья чисел:
кто-то взял и разом подвел черту —
до забвенья сбывшееся возвысил.

И оно пылает над головой
чистым спиртом яростного заката
за пустою лавкою угловой,
где ножом навек — имена и дата.

Но хороший спирт прогорает вмиг —
и ни дыма зрителям, и ни пепла.
И темно — как будто ватага их
от огня того навсегда ослепла.

* * *

Индевет стекло, западает движок.
На развязки пугливый сочится снежок.
Пепел кожу прожег.

По окраинным весям круги широки.
Сигарета как фикса у края щеки —
замерзать не с руки.

Что за ушное лихо, дрянная беда
на костры новостроек заносит сюда —
велики холода.

То ли злая надежда на легкий ночлег,
то ль ночное смещение тутошних вех —
безнадзорный разбег

меж дежурных закусовых настороже
по ледку, где брезгливо в немом кураже
брезжут звезды-драже.

И уже не засечь разворота, угла,
за которым кривые дороги дотла
полночь выжечь смогла.

Над кварталами стоя кемарят дымы.
В черном инее тачка до самой кормы.
Славно в недрах зимы

говорить точно в бочку, глядеть словно в гать
и в потере пути находить благодать.
И другого не знать.

* * *

Тогда Союз разводом занялся,
делением на околотки,
кругом бабла набухли завязи,
забултыхалось море водки.

Вернулась давняя и шалая
волна купанья в море крови.
И эта радость обветшалая
сполна вошла в обычай внове.

Теперь и вспомнить не предвидится —
на бражной, что ли, вечеринке,
где крыли наглое правительство,
иль у фонтана по старинке.

Возможных точек совпадения
изрядно было в эту пору —
там барышни вне поведения
давали жару и задору.

И в том и казус, и оказия,
что резус твой и крови группа
не допускали безобразия,
и время выглядело глупо.

Я тоже с ним дружил без рвения,
не совпадал по интересам,
аполитичной точки зрения
был празднолюбцем и балбесом.

Угар безделья и отдельности
витал над нашими телами.
Смолкали бесы оголтелости,
и слезы дали застлалали.

Ведь в них, неясных, зрела заживо
смешного счастья недоимка —
ледащего, чумного, нашего —
и на душе копилась дымка.

А за душой копиться нечему —
по всем карманам ветер шарил.
Мы возвращались ближе к вечеру,
застолье свечкой украшали.

Дрожало пламя безутешное,
двойным дыханием гонимо...
И помрачение кромешное
как тень прокатывало мимо.

* * *

Там цветами в девятнадцатом Шкуро
впечатлительные барышни встречали.
Генерал глядел нахально и хитро,
хоть и не без недоверья и печали.

Думал думу, где устраивать банкет.
По раскладу выходило, что в «Бристоле»...
И букет определялся на букет,
и катился под копыта поневоле.

Казачки вовсю глазели на девиц,
крыши ехали от визга и восторга...
Но лишь сутки на оттяжку без границ,
потому как лезли красные с востока.

Что за город? Он знаком и не знаком.
Но картинка забывается не скоро,
хоть шкуровцев как слизало языком
под ударами усатого комкора.

То-то было ликование — улет
горожанок в небеса от умиленья,
ведь отныне их урочище — оплот
и надежда трудового поколенья.

Сколько вспыхивало здравниц на веку,
что закончился почти как четверть века!
И хоть лозунги писали наверху,
в них лукавое проскакивало эхо.

Можно радоваться свету, можно — тьме.
А верней салютовать попеременно
и, проклятия суммируя в уме,
ожидать, когда сойдет вся эта пена.

А еще вернее помнить и не ждать,
сны просматривать, где все цветы да кони...
И проспав очередную благодать,
слепо здравствовать у бога на ладони.